

Начало пути: ЖИЗНЬ И ПОЭЗИЯ



Кто знает, где концы и где начала,
И по каким путям еще пройду?
Вот пожил в мире, кажется, немало,
Но до сих пор еще чего-то жду...

Э. Асадов

Майка уезжала из нашего города. Маленькая Майка с большим шелковым бантом на голове. Цвета бантов зачастую менялись: алый, черный, ласково-голубой... Не менялась только сама Майка. Она всегда оставалась самой маленькой среди всех своих одноклассников и самой независимой и самой лучшей ученицей в школе. Училась она почти на одни пятерки. Сквозь призму промчавшихся лет, словно через увеличительное стекло, я с удивительной ясностью вижу ее крохотную фигурку, то мелькающую среди подруг в актовом зале, на большой перемене, то бегущую по лестнице с классным журналом в руке, а то в летнем школьном лагере шагающую по лугу с огромным букетом ромашек. За что она симпатизировала мне? Я не знаю. Но как-то так всегда получалось, что она постоянно «совершенно случайно» оказывалась там, где бывал я. А в лагере она как-то раз тайно проникла

в нашу мальчишескую палату и положила мне на подушку, когда там никого не было, большой букет васильков... Как-то незаметно я привязался к ней тоже. Но в подростковом возрасте (а было нам всего по тринадцать) симпатии проявляются своеобразно: мы то спорили, то поддразнивали друг друга, обменивались озорными карикатурами и записками, а то старались друг друга как-нибудь разыграть. И это было славно и весело. А вот теперь она уезжала... Шел 1936 год. Страна переживала горячие, но в то же время тревожные дни: все гуще и ярче сверкали доменными печами Тагил и Магнитка, уверенно раздвигал грудью таежную глухомань Комсомольск и все жарче и тверже поигрывал стальными мускулами Уралмаш... набирало силу стахановское движение, а по радио маршеобразно звенела бодрая «Песня о Встречном». И вместе с тем в человеческих сердцах все заметней и напряженней шевелилась тревога. В стране начинались аресты... И люди, ложась спать, больше всего боялись ночного звонка в дверь. Боялась такого звонка и Майкина мама. И, как потом оказалось, боялась не зря. Вот и решила она отправить дочку к ее отцу, с которым уже не жила, в Новгород. Другого варианта, видимо, не было. Вот и провожали мы Майку шумливой гурьбой на свердловский вокзал. Теперь этот город опять именуется Екатеринбургом. И хоть нам ужасно было жалко расставаться с Майкой, а у некоторых девчонок даже сверкали на ресницах слезинки, все равно, молодость брала свое: ребята шутили, пели песни, пытались острить по поводу будущей Майкиной жизни и даже полушутя, полусерьезно советовали Майке стать летчицей и постоянно прилетать на

Урал. Я нес Майкин набитый книгами тяжелый портфель. А она, выждав удобный момент, положила мне в карман на память свой школьный билет с фотографией и тихо шепнула:

— Я там сообщила тебе новый свой адрес... Напиши непременно... Я буду писать тебе тоже... Интересно: встретимся мы с тобой когда-нибудь или нет...

А я убежденно ответил:

— Почему когда-нибудь? Через год, максимум через два, обязательно!

И потихоньку сунул ей в портфель маленькую шоколадку, на более приличную у меня просто не было денег... Эх, знать бы нам тогда, наивным и добрым, что встретиться мы действительно встретимся, но только через двадцать бурных и долгих лет... Встретимся, когда нам будет уже за тридцать, а за спиной будут и война, и тяжкое горе, и надежды, и новые непростые дороги... И вот, когда Майка уже вошла в вагон и начала переговариваться с подругами жестами через оконное стекло, я увидел спешащего по перрону плечистого мужчину в черном драповом пальто с бежавшей рядом с ним рыжей собакой. Подойдя к одному из вагонов, он присев, снял с собаки ошейник и, что-то сказав, погладил ее по спине. Та доверчиво виляла хвостом и пыталась лизнуть его в щеку. Но мужчина, отстранив пса, выпрямился и, не оглядываясь, пошел к вагону. Собака пристально смотрела ему в спину не шевелясь. Затем я потерял собаку из виду, потому что все внимание обратил теперь на окно, за которым стояла Майка. Она махала мне рукой и что-то говорила напряженно и быстро... Но что? Я так и не

понял. Но вот поезд тронулся, и Майкино окно стало уплывать от меня все быстрее и быстрее... Вагоны уже не шли, а с коротким перестуком мелькали, летя в сторону семафора, поднявшего зеленый фонарь. Они бежали, пока последний с багровым огнем позади не начал скрываться вдали. И тут я неожиданно снова заметил того рыжего пса, которого бросил на перроне хозяин. Вытянувшись в тугую напряженную линию, он мчался по шпалам за поездом. И, казалось, не было на свете силы, которая могла бы его удержать! В ту пору я, конечно, не знал и не думал о том, что когда-нибудь напишу об этом стихи. Я только стоял и смотрел с огромным волнением на бегущего за поездом пса.

Почему я говорю об этом сейчас? Да потому, что в эпизоде этом как бы слились, сфокусировались две сверкающие точки: жизнь и поэзия! И сколько впоследствии в судьбе моей вспыхивало всяческих эпизодов и впечатлений, которые под самыми различными углами так или иначе переплавлялись потом в стихотворные строки, — сосчитать невозможно! Только не надо воспринимать это все упрощенно: эпизод — стихотворение, событие — стихотворная фабула. Процесс превращения случая или факта в стихотворный сюжет, в поэтическую строку гораздо сложнее и трудней, а подчас и значительно фантастичнее. И тем не менее человеческая и творческая судьбы прозаика или поэта неразрывно друг с другом связаны. Пусть не упрощенно, не напрямую, но связаны непременно. Виссарион Григорьевич Белинский сказал когда-то о Лермонтове замечательные слова: «Вот — поэт, жизнь которого является продолжением

его творчества, а его творчество — есть лучшее оправдание его жизни!» Конечно, у каждого поэта могут быть удачные и неудачные строки. Однако пусть не упрекнут меня в излишнем пристрастии, но у Лермонтова, с моей точки зрения, неудачных строк практически нет. И в подтверждение прекрасных строчек Белинского мы могли бы сегодня сказать: разве смогли бы мы понять и прочувствовать до конца глубину переживаний, духовную остроту и вообще весь пафос таких, например, произведений, как «Мцыри», «Смерть поэта» или «Демон», не будучи знакомы с судьбой самого поэта и редкостной глубиной и силой его души?! А разве сумели бы мы понять и прочувствовать до конца сложность характеров героев его произведений, и прежде всего Печорина, не будучи знакомы с характером, жизнью и всеми перипетиями лермонтовской судьбы!

Кто не знает великолепного стихотворения Алексея Константиновича Толстого «Средь шумного бала» и других его отличных стихотворений? И тем не менее до конца понять всю его любовную лирику можно лишь зная о горячей взаимной любви между ним и Софьей Андреевной Миллер (впоследствии Толстой).

А разве же не накладываются многие и многие страницы жизни Ивана Сергеевича Тургенева на его книги, и в частности на такие его романы, как «Вешние воды» и «Дым»?! Где герои ведут себя хоть и по-разному, но, безусловно, сопрягаясь с чувствами и мыслями самого автора! Я уж не говорю о «Записках охотника» и других. Судьба и творчество. Творчество и судьба! Понятия эти зачастую попросту неразделимы! И это касается не толь-

ко художников. Если нам интересна книга писателя, то, безусловно, интересна и его судьба. И я это лично знаю, не понаслышке. Ибо получил тысячи и тысячи писем с горячей просьбой рассказать о себе. Такие же просьбы получал я в записках на моих литературных вечерах буквально во всех городах России и, как теперь принято говорить, в городах стран СНГ. О близких мне людях, о надеждах, о горе, о счастье и о вечной борьбе, которую я веду во имя моих идеалов и правды.

Не мне судить о том, насколько хороша или нехороша эта книга. Но за то, что она написана и честно и искренне, ручаюсь я абсолютно! Прочтите ее и судите сами!

Биографию свою я излагал уже неоднократно. И начинал я ее так, как обычно начинают все, то есть с упоминания об отце и матери. Впрочем, не только о них. Рассказывал я еще и о своем дедушке по материнской линии Иване Калустовиче, которого с уважительной улыбкой называл «историческим». И это, пожалуй, все. Я полагал, что этого вполне довольно. Да никто меня о большем и не просил. Но вот теперь я все чаще и чаще стал думать о том, что мало мы, в сущности, знаем свою родословную. Редко интересуемся дедушками и бабушками, а уж о прадедах зачастую и не ведаем ничего. Ни от этого ли прохладного равнодушия мы и историю своей родины знаем нередко кое-как, с пятое на десятое? Не отсюда ли идет у некоторых людей довольно слабое притяжение к земле, на которой он вырос, к своему народу? Это не громкие слова, не риторика. Это живая правда. В дореволюционные годы существовало немало домов, особенно в аристократических семьях, где родословное древо известно

было до седьмого, а то и до десятого колена. И было это справедливо и хорошо. Ивановы, не помнящие родства, были не в чести. В октябре семнадцатого революционная волна, сокрушая отжившее, разметала и унесла вместе с тем и что-то важное, дорогое. В частности, родословные нити, семейные связи, а порой и святое уважение к прошлому. Справедливость требует сказать, что подобного рода «забывчивость» в значительной степени подкрепляла политическая обстановка, царившая в те годы в стране. Считалось почти позором иметь предков с дворянским происхождением, выходцев из священнослужителей или купцов. Люди, в чьих семьях были подобные отцы или деды, старались не говорить об этом вслух, стеснялись вспоминать о них в своих анкетах, а со временем и почти забывали. Впрочем, зачем далеко ходить? Даже в нашей, можно сказать, прогрессивной семье о моем дедушке по линии мамы, который был секретарем Чернышевского, говорили с гордостью, а о дедушке по линии отца, который пытался выбиться в купцы, вспоминали неохотно, а уж в анкеты он не попадал и вовсе. И делалось это отнюдь не из страха, никто в нашей семье этим пороком не страдал, и это не раз подтверждала жизнь, а просто из какой-то неловкости и еще по искреннему убеждению, что подобную дорогу почитать нельзя. И сколько таких неловкостей и провалов в памяти и семейных архивах многих и многих людей, сегодня, пожалуй, и сосчитать нельзя. А это очень и очень жаль, ибо сегодня мы вроде бы уже освобождаемся от общественных и классовых предрассудков минувших лет. А сколько ярких, интересных и самобытных имен безвозвратно кануло уже в Лету...

В каждом из нас всегда перекрещены два начала, две дороги, две жизни: материнская и отцовская. Мы их наследники и продолжатели. Их гены, их кровь, их чувства и мысли, их печали, мечты и надежды и вообще все, что билось, страдало, смеялось и пело в их сердцах, получили по наследству мы и несем дальше, добавляя свои мысли и чувства, свои беды и радости, свою надежду и веру для того, чтобы передать нашим детям. Так устроена жизнь. И устроена справедливо. И не только справедливо, но и хорошо, иначе не казалась бы нам она такой короткой!

Но, итак, о линии материнской. Назвать эту линию линией «прекрасного пола» не было бы никаким преувеличением, так как мама моя обладала и в самом деле красотой. И фотографии ее — наглядное тому подтверждение. Так вот, для того чтобы повнимательней познакомиться с моей родословной по линии мамы, надо мысленно перенестись в Петербург второй половины девятнадцатого века. В ту пору трудился там на Путиловском заводе потомственный рабочий Андреев, носивший имя, соответственное фамилии: Андрей. Дед его, работавший мастером в корабельных доках, по семейным преданиям, 14 декабря 1825 года стоял в толпе на Сенатской площади, когда Николай I расстреливал восстание декабристов. Смотрел рабочий Михайло на то, как под взрывами картечи падали молодые смелые люди, обогря кровавыми пятнами снег, и с того памятного утра люто возненавидел царя. И кто знает, не от него ли жаркие капли той ненависти через несколько поколений добрались до моей мамы и вскипели в ее сердце горячим гневом против несправедливости и увлекли в пламя Гражданской войны?!

Но повернем колесо времени назад. У путиловского рабочего Андрея Андреева была многочисленная семья. Старшей среди детей была Вера — высокая, статная, с независимым взором и еще более независимым характером. Теперь мы на несколько минут прервем наш разговор о рабочей династии и шагнем из пролетарского предместья в аристократический квартал Петербурга.

Где-то возле канала Грибоедова за витой чугунной оградой в глубине сада высился особняк. У ворот — строгий молчаливый привратник. В глубину сада вела посыпанная песком липовая аллея. Хозяином дома был отпрыск старинного английского рода лорд Норман. Вильям Жозеф Норман, несмотря на голубую кровь, не чужд был активной деятельности и обладал крупными рыбными концессиями в России. В богатом особняке вместе с ним жили жена его Жозефина и трое детей: Эдуард, Альфред и Луиза. И жить бы этой семье в довольстве и радости, если бы не поразившая дом беда. Внезапная болезнь свалила и навсегда приковала к постели Жозефину Норман. Строгая и немногословная, она мужественно переносила свое тяжкое горе. Муж был к ней всегда предупредителен и добр, однако был он еще слишком молод для того, чтобы обречь себя на монашеский аскетизм. Рано или поздно что-то непременно должно было произойти. Жизнь это жизнь! И оно, это «что-то», случилось. Я не знаю, где и при каких обстоятельствах встретился английский лорд Вильям Жозеф Норман с девушкой из городского предместья красавицей Верой Андреевой. Возможно, что произошло это где-нибудь на проспекте или в саду в день народного гулянья, или у моря в порту, где девушки по-

могали морякам выгружать рыбу, или... да мало ли где могли познакомиться люди на свете! Пути Господни неисповедимы... Важно одно: они встретились и полюбили друг друга. О том же, что это было большое и серьезное чувство, а не мимолетный роман, говорит уже сам по себе тот факт, что от этой любви родились на свет целых трое детей: Мария, Вера и Владимир. Лорд Норман человек был порядочный и серьезный. При тяжелобольной, но живой жене он жениться еще раз не мог. Он делал все, что мог, для своей любимой, но положение ее было ужасным. По тогдашним временам девушка, родившая вне брака, считалась навек опозоренной. И каким, надо сказать, сильным характером должна была обладать Вера Андреевна, чтобы не только стойко вынести все угрозы и весь позор, который обрушился на ее голову, но родить еще второго и третьего ребенка! Мальчуганом я видел ее портрет и хорошо его помню: темное шерстяное, застегнутое у ворота старинной брошью платье, спокойное волевое лицо, прямой нос и большие выразительные глаза. А на голове... впрочем, нет, правильнее будет сказать не на голове, а над головой не прическа, не завитки, не кудри, а целое архитектурное сооружение из волос. Не знаю, как и на чем все это держалось, каким искусством должны были обладать руки, совершавшие это парикмахерское чудо, но подымалась эта тогдашняя, с позволения сказать, мода едва ли не на высоту второй головы. Моей бабушкой была старшая из троих ее детей — Мария. Отчество ей дали Васильевна, переводя, очевидно, без лишних затей английское Вильям на более знакомое для русского уха Василий. Отец Веры Андреевны, как

это нетрудно понять, не мог ни принять, ни простить, ни тем более оправдать отчаянной любви своей дочери. Он проклял и выгнал ее из дома. И она поселилась со своими чадами в небольшом домике на Васильевском острове, который снял для нее Вильям Жозеф.

Мария Васильевна (моя бабушка) рассказывала впоследствии моей маме, что детьми они бегали потихонечку к дому своего отца и осторожно сквозь чугунные узорчатые решетки смотрели с любопытством в сад. Там на спортивной площадке с хохотом и шумом играли в крокет со своими приятелями юные англичане. А по садовым дорожкам ливрейный лакей не спеша возил в коляске седовласую молчаливую даму, укутанную пледом. Вильям Норман постоянно бывал в доме у Веры Андреевны, был неизменно ласков с детьми. И к чести его следует сказать, что в общении этих не было ни грамма снисходительного высокомерия. Фактически он относился ко всем, как к членам своей семьи. Конечно, обо всем этом можно судить и рядить как угодно, но я бы просил этого не делать, ибо и без того Вере Андреевне и всем ее детям довелось в ту пору хлебнуть из чаши бытия всякой горечи предостаточно. Но прошло несколько лет, и Жозефина Норман умерла. Вскоре сам собою возник вопрос: что делать дальше? Кто был лорд Норман: лютеранин, католик или протестант, я не знаю, знаю лишь, что он предлагал, причем очень настоятельно, Вере Андреевне принять его веру и вступить с ним в законный брак. Однако Вера Андреевна, при всей своей горячей любви к Норману, согласиться на это не могла. Почему? Причин, как мне кажется, тут было много. Во-первых, я думаю, вера. Дело в том,